## Индивидуализм Печорина как психологическая доминанта его характера и мировоззренческая концепция жизни.

Автор: *Лермонтов М.Ю.*

Индивидуализм Печорина как психологическая доминанта его характера и мировоззренческая концепция жизни.

Всеми критиками отмечено, что главный психологический «нерв» характера Печорина, главная внутренняя пружина его побуждений и поступков – индивидуализм. Действительно, на всем протяжении романа Печорин обнаруживает себя перед нами человеком, привыкшим смотреть «на страдания и радости других только в отношении к себе» - как на «пищу», поддерживающую его «душевные силы». Именно на этом пути ищет он забвения от преследующей его «скуки», именно этой «пищей» пытается заполнить как-то гнетущую пустоту своего существования. Он идет по жизни, ничем, в сущности, не жертвуя для других – даже для тех, кого любит: он любит тоже лишь «для себя», «для собственного удовольствия», - и именно индивидуализм, именно эта психологическая доминанта печоринского характера составляет главную сферу художественного характера исследования, главный объект художественного внимания Лермонтова.

Лермонтов раскрывает перед нами индивидуализм Печорина и рассматривает его не только как психологию, но и как определенную мировоззренческую концепцию жизни.

В самом деле, Печорин выступает перед нами отнюдь не как «стихийный» индивидуалист. Он подлинное дитя своего времени, времени поисков и сомнений, напряженной, лихорадочной работы мысли, все и вся подвергающей разъятию, анализу, пытающейся проникнуть до самых истоков «добра и зла». Плоть от плоти и кровь от крови своего поколения, Печорин находится в постоянном раздвоении духа, тяжкая печать рефлексии, постоянного самоанализа лежит на каждом его шаге, каждом движении. «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» - говорит он о себе сам. И индивидуалистическая природа поступков отнюдь не секрет для него. Она вполне им осознана. Осознана как своего рода жизненная программа, философия жизни, покоящаяся на определенных мировоззренческих принципах. И Лермонтов специально подчеркивает это, специально акцентирует на этом внимание читателя.

С этой точки зрения ключевую позицию в романе занимает новелла «Фаталист».

Внутренняя «интрига», на которой держится композиционное построение романа, предполагает не только задачу вызывать в читателе интерес и напряженность внимания постепенным раскрытием загадки печоринской психологии. «Интрига» эта строится, бесспорно, и на стимуле «рассекречивания» мировоззренческих причин индивидуалистической психологии Печорина. Показав нам в «Бэле» и в «Максим Максимыче» едва ли не самые яркие образцы печоринского равнодушия «ко всему на свете, кроме себя», но ничего еще, в сущности, не объяснив; подтвердив это впечатление в «Тамани», да еще и заставив задуматься над многозначительной фразой, венчающей эту повесть: «Что сталось с старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих...»; предоставив нам, наконец, в «Княжне Мери» на примере неоднократных признаний и даже деклараций самого Печорина возможность окончательно убедиться в том, что индивидуализм вполне осознан самим Печориным именно как основной жизненный принцип, Лермонтов настойчиво ведет нас к вопросу, который действительно не может не возникнуть: какая же логика мысли привела Печорина – человека думающего, привыкшего во всем отдавать себе отчет, все подвергать трезвому анализу, во всем исходить из оснований, добытых, проверенных, взвешенных работой разума, - какая же логика мысли привела его к признанию необходимости и, видимо, даже разумности холодного правила «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе»?

Ответ на этот вопрос, возбужденный в душе читателя, и дает нам «Фаталист». После пари с Вуличем, утверждающим божественную предопределенность человеческой судьбы, Печорин возвращается домой пустынными переулками станицы. «Месяц, полный и красный, как зарево пожара, - пишет Печорин в своем «журнале», - начал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что же? Эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником!..» Да, - признается Печорин, - после выстрела Вулича он поверил предопределению: «…доказательство было разительно, и я, несмотря на то что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею». Но, тут же замечает он, «я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону...»

Печорин действительно верен своему времени – времени, во всем пытающемуся идти «с самого начала»; времени, когда, по выражению Герцена, «вопросы становились все сложнее, а решения менее простыми». Печорин пытается идти «с самого начала», пытается решить вопрос о том, из чего исходить человеку при определении основных критериев и ценностей человеческой жизни: из веры в заранее предопределенное и провозглашенное высшей божественной волей назначение человека или из того, что человек сам создает мир своих представлений о жизни и определение жизненных критериев и ценностей предоставлено его разуму, его собственной воле?

Таков смысл проблемы, которая заключена в раздумьях Печорина о людях «премудрых». И здесь он тоже подлинный герой тридцатых годов. В интересе его к этой «начальной» проблеме человеческого существования звучат явственные отзвуки духовных исканий, которые были в высшей степени характерны для тридцатых годов, через которые прошли все лучшие люди его поколения.

Ироническое отношение Печорина к философии «людей премудрых» прямо связано у него с утверждением права человека на самостоятельность решения – он называет колею «премудрых людей» «опасной», он видит, что она отнимает свободу воли, он предпочитает «решительность» характера, основанную на праве человека «сомневаться во всем». Он осознает в себе, как в человеке, единственного творца своей судьбы и потому-то и дорожит своей свободой как высшей ценностью: «Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою... поставлю на карту... но свободы моей не продам...»

Как ни ценно само по себе обретение человеком в себе свободного существа, - это еще не та истина, которая способна вполне удовлетворить человека. Напротив, эта истина сразу же ставит человека перед необходимостью дальнейших решений.

Вспомнив о «людях премудрых», посмеявшись над их верой в то, что «светила небесные принимают участие» в человеческих делах, Печорин продолжает: «Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам... для блага человечества... и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...»

Вот она, самая трудная проблема, вполне отчетливо сознаваемая Печориным, встающая перед ним во весь рост! Печорин не случайно сопоставляет веру и неверие, «людей премудрых» и их «потомков». Способность к добру, служению общему благу есть только там, где есть убежденность в истинности, конечной оправданности этого служения. Раньше «людям премудрым» эту убежденность давала именно вера в то, «что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием», что «жертвы для блага человечества» освящены именно конечной целью жизни – бессмертием и блаженством человеческой души в загробном мире добра и справедливости. Но человеку, отбросившему подобное доказательство необходимости добра, нужно заново убедиться в этой необходимости, нужно найти иные «доказательства» – «доказательства», способные убедить его сознание в том, что добро, «благородные стремления», «жертвы и подвиги» для блага человечества – действительно необходимое условие человеческой жизни.

Именно перед этой проблемой и оказывается Печорин. И не находит положительного ее решения. Действительно, сравнивая «потомков» и «предков» и признавая, что его поколение, в отличие от «людей премудрых», не способно к великим жертвам и подвигам для блага человечества, Печорин и признает ведь тем самым не что иное, как то, что ему нечего противопоставить вере в провидение, бывшей для «предков» мощным стимулом к «благородным побуждениям». Признает, что с утратой божественного оправдания добра он не приобрел каких-либо иных убеждений, подтверждающих необходимость и истинность «жертв для блага человечества» и способных тем самым дать человеку силу и желание служить этому благу.

Этот скепсис Печорина отнюдь не свидетельствует о недостатке ума или проницательности. Сложность этой проблемы отнюдь не иллюзорна, и она оказалась роковой отнюдь не только для Печорина. Это проблема, которая была мучительнейшим предметом раздумий не одного поколения выдающихся мыслителей и на которой споткнулся не один ум. Даже и много лет спустя, мучась над ее решением, Достоевский пришел к выводу, что «если нет бога, то нет и добродетели».

Но что же остается человеку, лишенному веры в реальность и истинность высоких общественных целей, гуманистических идеалов, не сумевшему найти их реального обоснования? Остается, естественно, единственно бесспорная, очевидная реальность – собственное «я». Остается индивидуализм – в тех или иных его формах, вплоть даже и до той, что обозначена знаменитой формулой героев Достоевского: «Все позволено».

Именно индивидуализм, именно собственное «я», как единственное мерило всех ценностей, которому остается служить, и становится, естественно, символом веры лермонтовского героя. У Печорина нет полной внутренней убежденности, что индивидуалистический символ веры и есть истина; он подозревает о существовании иного, «высокого назначения» человека и допускает, что он просто «не угадал» этого назначения. Но реальностью, единственной реальностью, пока не «угадано» другое, остается для него именно этот принцип – «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе». И он повторяет вновь и вновь это «правило» как свое кредо, он развивает на его основе целую теорию счастья как «насыщенной гордости», - по всему видно, что «правило» это кажется ему логически неопровержимым и единственно реальным.

Таковы показанные Лермонтовым истоки печоринского индивидуализма. И они-то и раскрывают нам основную проблему романа, основной его смысл.

Лермонтов пытается проверить плодотворность индивидуализма, истинность его «верую» реальной практикой живой жизни. Он судит индивидуализм его собственным реальным опытом. Он заставляет его обнажать перед нами все свои мечты и реальные обретения, природу своих радостей и своих страданий, - в этом живом потоке переплетающихся движений он стремится найти ответ на все тот же вопрос о реальной основе гуманистического мировоззрения.

Дает ли Лермонтов ответ на этот вопрос?

Да, дает. Дает беспощадно точным, проникающим до самых сокровенных, подспудных глубин сердца многогранным и полным художественным исследованием движений человеческой души, проходящей опыт индивидуалистического освоения жизни.

На протяжении всего романа Печорин неустанно демонстрирует верность своему принципу – смотреть «на страдания и радости других только в отношении к себе», как на «пищу», поддерживающую его душевные силы. Вторжение «в мирный круг честных контрабандистов», вырванная из родной семьи и брошенная Бэла, упорное преследование княжны Мери, ее обманутая любовь, смерть Грушницкого, холодное пари с Вуличем, где ставкой жизнь человека, - действительно словно «топор в руках судьбы», словно «орудие казни»! И действительно, всегда «без сожаления», всегда и все лишь «для себя, для собственного удовольствия...».

И что же? Каковы же результаты?

«Из жизненной бури я вынес только несколько идей – и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою...»

Ну, а как с декларированным «первым удовольствием» - «подчинять своей воле все, что меня окружает»? Насколько подтверждено то уверение, что «возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха» - «первый признак и величайшее торжество власти», что «быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права», - «самая... сладкая пища нашей гордости» и что счастье и есть не что иное, как «насыщенная гордость»? Что ж, Печорин и вправду не устает «подчинять своей воле все окружающее», служить «причиной страданий и радостей» других, «не имея на то никакого положительного права», и, следовательно, недостатка ощущения «насыщенной гордости» у него нет. Но где же второй член тождества – «счастье»? Увы, вместо счастья – утомление и скука. Попытки обмануть себя разнообразием «пищи», насыщающей гордость, не дают результата, - оказывается, что к жужжанию чеченского путь можно привыкнуть почти так же, как к писку комаров, а невежество и простосердечие дикарки так же надоедают, как и кокетство знатной барыни... И даже в лучшем из забвений – истинной и глубокой женской любви – настоящего забвения все же опять-таки нет: ведь и ее дары, поглощаемые как пища для поддержания душевных сил, в сущности, уже не дары, а заранее взвешенное удовольствие. И потому, при известном опыте, в них не остается даже и новизны: «Она недовольна собой; она себе обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть – вот что скучно!»

Каждый шаг Печорина – словно издевательская насмешка судьбы, словно камень, протянутый алчущему хлеба. Каждый шаг его с неумолимой последовательностью доказывает, что полнота жизни, свобода самовыявления невозможны без полноты жизни чувства, а полнота чувства невозможна там, где прервана межчеловеческая связь, где общение человека с окружающим миром идет лишь в одном направлении: к тебе, но не от тебя. Нет, счастье – это не насыщенная гордость, быть причиною страданий или радости другого – иллюзорное удовольствие, если ты не имеешь на это никакого «положительного права». А право свое на это ты можешь ощутить только тогда, когда заплатил за него равной монетой, когда обращенные к тебе ненависть, любовь, нежность, восхищение достаются тебе не как случайный и незаконный, полученный не по адресу дар судьбы, а завоеванный и обоснованный твоей собственной любовью, нежностью, ненавистью, мужеством и преданностью. Иначе, когда в дарах этих нет твоей собственной крови, отзвука твоих собственных чувств, возвращения тебе затрат твоего собственного сердца, нет и удовлетворения. Человек – это по самой своей природе «общественное существо» - не приспособлен для самоизоляции, для замкнутого существования в себе самом. Радости и страдания других и в самом деле нужны ему как пища, но они становятся действительной пищей его жизни лишь тогда, когда они рождены как ответный и равный отклик, когда отношения его с другими людьми строятся именно на основе добра, благородства стремлений, справедливости, равенства, невозможности быть счастливым, не давая счастья другому. И как решительно подтверждает это, вопреки выкладкам рассудка Печорина, уже и сам опыт немногочисленных радостей его души!

Нет, душа его вовсе «не испорчена светом» - это напрасное обвинение. Она-то как раз, поскольку она живет, и не может заглушить в себе действительных своих потребностей. Она помнит, что именно былой «пыл благородных стремлений» - лучший цвет жизни. Вопреки всем уверениям Печорина, что он лишь для собственного удовольствия добивается любви молоденькой княжны Мери, душа его страстно жаждет истинной влюбленности, и Печорин с удивлением ловит себе на том, что ждет встречи с Мери: «Наконец они приехали, Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: У меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать». Он уверяет себя, что постоянная привязанность – всего лишь «жалкая привычка сердца». Но он вынужден признаться, что его, пожалуй, удовлетворила бы эта «жалкая привычка». Он смеется над своей «глупой» природой, но с трепетом вслушивается в невольные, манящие какой-то неясной надеждой движения своего сердца.